

Посылки выдавали на вахте. Бригады удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушёные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали — получить посылку было чудом из чудес.

Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках — в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.

Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски — это не лёд! Это сахар! Сахар! Сахар! Пройдёт ещё час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.

А махорка! Собственная махорка! Материиковская махорка, ярославская «Белка» или «Кременчуг № 2». Я буду курить,

буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов, — авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.

— Фамилия?

Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива — две-три горсти...

— Тебе бурки! Лётчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!

Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам — праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки — это чересчур шикарно... Это не подобает. Притом...

— Слышь, ты... — чья-то рука тронула моё плечо.

Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал моё плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель. А Бойко шептал торопливо:

— Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесёшь — отнимут, вырвут эти, — и Бойко ткнул пальцем в белый туман. — Да и в бараке украдут. В первую ночь.

«Сам же ты и подошёл», — подумал я.

— Ладно, давай деньги.

— Видишь, какой я! — Бойко отсчитывал деньги. — Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто — и даю сто, — Бойко боялся, что переплатил лишнего.

Я сложил грязные бумажки вчетверо, ввосьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат — карманы его давно были вырваны на кисеты.

Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь — торбочку с бечёвочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключённого из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.

Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.

— Что же не растопляешь?

Подошёл дневальный.

— Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берёт, а чтоб дрова были. Я тебе спать всё равно не дам. Иди, пока не поздно.

Ефремов выскользнул в дверь барака.

— Где ж твоя посылка?

— Ошиблись...

Я побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, ещё торговал. В магазине никого не было.

— Шапаренко, мне хлеба и масла.

— Угровишь ты меня.

— Ну возьми сколько надо.

— Денег у меня видишь сколько? — сказал Шапаренко. — Что такой фитиль, как ты, может дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро.

Сахару я забыл попросить. Масла — килограмм. Хлеба — килограмм. Пойду к Семёну Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, ещё не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе, в одной бригаде, но судьба нас развела.

Шейнин был в бараке.

— Давай есть. Масло, хлеб.

Голодные глаза Шейнина заблестали.

— Сейчас я кипятку...

— Да не надо кипятку!

— Нет, я сейчас, — и он исчез.

Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжёлым, и, когда я вскочил, пришёл в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне: во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет...

Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчётливо полутёмный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щёки Шейнина.

Я пришёл снова в ларёк. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив.

Барак уже спал: стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки каждый своё: Синцов кипятил сбережённую от обеда корку хлеба, чтобы съесть её, вязкую, горячую, и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождём и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев мёрзлой капусты — счастливец и хитрец. Капуста пахла как

лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.

Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один, помоложе, — начальник лагеря Коваленко, другой, постарше, — начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках — в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские.

Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принёс с собой.

— Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!

Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка.

Рябов грел руки о печную трубу.

— Есть котелки — значит, есть что варить, — глубокомысленно изрёк начальник прииска. — Это, знаете, признак довольства.

— Да ты бы видел, что они варят, — сказал Коваленко, растапывая котелки.

Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый своё: я — ягоды, Синцов — размокший, бесформенный хлеб, а Губарев — крошки капустных листьев. Мы всё сразу съели — так было надёжней всего.

Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги, — когда-то я этого не мог, но опыт, опыт... Сон был похож на забытьё.

Жизнь возвращалась как сновиденье — снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилёгшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.

Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников.

— Ваш человек? — и смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.

— Это Ефремов, — сказал дневальный.

— Будет знать, как воровать чужие дрова.

Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили «нутро» — мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался — он лежал и тихонько стонал.